

назавтра. Вроде и виноват, а вроде и вины не чувствую. Просил прощения. Помолчала. Сказала, что надо провести вечер фронтовой поэзии. Я пошёл за занавеску, к стеллажам, искать стихи Твардовского, Симонова, Юлии Друниной. Высунулся, попросил помочь. Она подошла. И, конечно, вновь не мог я удержаться. Она уже не вырывалась. Даже прижалась сама.

И вскоре нам было не до морфологии — целовались. И я чего только не намечтал. Умолял разрешить прийти к ней ночью, когда муж будет на дежурстве. «Ну да. Чтоб услышать шаги командора?»

Однажды увидел на её столике испанские листки. И среди строчек вдруг несколько её подписей. Будто она разучивала их. Но подписывалась она моею фамилией, будто б была моею женой. И как было не взлететь к заоблачным высотам желанного счастья взаимности?

Хотел сохранить листочки, но она резко их выхватила и порвала в клочки.

Однажды сказала, что ей подарили билеты на оперу «Дон Карлос» в Кремлёвский дворец съездов. Два билета. «Он не может поехать, у него как раз дежурство».

Я выпросил на этот день увольнение до двадцати четырёх ноль-ноль. А дальше так: около платформы был дежурный магазинчик, в котором ловкая татарочка Земфира помогала солдатикам безопасно бегать в самовольные отлучки. То есть переодеваться в гражданское. Конечно, не за так. Накануне я с Земфирой договорился. Выскочить из части мне было легко: как старшина, обязан был проверять посылки, которые часто шли солдатам, и я сопровождал их на почту. Пока они заполняли извещения, то-сё, я побывал у Земфиры. Она показала мне серый костюм моего размера, рубашку, полуботинки, всё очень приличное.

Для конспирации мы с Валентиной договорились, что вместе в электричке не поедим, а встретимся прямо у входа во дворец.

Встретились. Она снова была в сером, но уже в светло-серебристом и в белой накидке. Протянула уже купленную ею программку оперы. Изумилась, что я не в форме.

— Тебе здорово идёт. А что ты хромаешь?

А весь секрет был в полуботинках. Надо мне было их у Земфиры заранее примерить. Размеры на два они были меньше. Как колодки каторжника.

Через сутки я принёс ей стихи, громко названные «Баллада о тесной обуви».

«Сейчас рассказываю шутя, но было вчера не до смеха, когда ноги в туфли втиснули внатяг, и на свиданье поехал. В метро кое-как, ну а дальше стоп: боль такая в ступнях, что каждый шаг получался под стон, хоть иди на руках. Во дворце знаменитом новый удар — ты оказалась не около. Вот это страшнее сотни подагров, всех бед Финиста — ясна сокола. А на сцене поёт по-телячьи дон. Длинно поёт, стервец. У меня в голове какой-то трезвон: скоро ли акту конец?.. Я память готов сто раз перерывать: никогда ещё так не везло: мы рядом сели, прожив перерыв, всем доном и доном на зло... Платье — шёлк, пелеринка — шик, скрипки радостный вскрик... Влюблённый безумец, Богу молись! Мгновенье, остановись! — А в конце послесловие: — О блаженство привычных сапог, о радость измученных ног! О, как же я нёс до части своё синекокое счастье!»

Обратно она, опять же опасаясь, чтоб вместе нас не увидели, не ехала со мной в одном вагоне. Договорились, что если у неё не будет попутчиков, то к части пойдём вместе. В своём, почти пустом вагоне, я разулся. Ноги радостно отдыхали, а я читал программку, изложение сюжета оперы. Да что мне был этот дон Карлос, эти интриги старика-инквизитора, происки Габсбургов и Валуа, тексты Шиллера, я продолжал чувствовать в своих ладонях её горячую ладонь, в памяти слуха мелькали обрывки музыки Верди. Перед нашей станцией я схватил в руки полуботинки и босиком помчался к Земфире. Мгновенно переодделся в свою сержантскую форму. И — великое дело — вернулся в свои сапоги! «Сапоги вы мои, сапоги: один с правой, другой с левой ноги». Рванул к шоссе. Очень надеялся, что она идёт одна. И — да, счастье

продолжалось: тёплый вечер, весна, её туфельки громко щёлкают, я догоняю и больше туфелькам не даю касаться асфальта: несусь на руках. Несу по мосту над железной дорогой. Она:

— «В лёгком сердце страх и беспечность, словно с моря мне подан знак. Над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак». И мне весело: — Не задыхаешься?

— Ты что! «Валентина, звезда, мечтанье, как поют твои соловьи»!

Больше в жизни не помню запаха таких духов, который шёл от её тёмно-русых волос. Я будто шёл внутри этого запаха. И ночной туман был — мокрая весна. И кстати было читать: «Дыша духами и туманами...».

Взглядывал по сторонам. Ну, хоть бы один сухой пригорок. Как обидно, что не лето! Ой, как же неистово вспоминался Есенин: «Зацелую допьяна, изомну как цвет», — и я так прижимал её к себе, что она вскрикивала.

— Ты устал, — спрашивала она. — Давай я сама пойду. Тебе тяжело?

— Нет! А тебе?

— Что ты! Я лечу!

А в самом деле, откуда только силы брались? Конечно, от её рук, сжимавших шею, от её губ, к которым я прижимал свои. От её ресниц, которыми она, как крыльями бабочки, касалась моих щёк. И я прошептал ей:

— Я хочу с тобой быть!

Она не ответила, но так вздохнула, будто простонала.

Перед частью расстались. Она вырвалась из объятий без десяти минут двенадцать и, выцокивая каблучками мелодию прощания, пошла на проходную для гражданских лиц, живущих в ДОСе, домах офицерского состава, а я кинулся на свой контрольно-пропускной пункт. Без минуты полночь доложил дежурному по части о прибытии из увольнения. Он всмотрелся в меня. Нет, вроде не выпивший. А некоторые рьяные служаки, бывало, требовали даже дыхнуть.

— Чего весь такой? Бегом бежал?

— Так точно! — весело ответил я. — Разрешите идти?

— Валей.

Я торопливо вышел из штаба. Очень не хотел, чтоб он услышал аромат духов. Не хотел делиться своим счастьем. Потихоньку пошagal к своей казарме. Запахи весны, знакомые с детства, холодная свежесть ночи охватили с ног до головы. И победили аромат её духов. Увы. Как-то пичужки, которым не спалось, может быть, от зависти ко мне, расширились, и я под их аккомпанемент сочинил: «Инфант испанский, сын Филиппа, влюбился в мачеху свою. А я с судьбой своей сержантской стою у бездны на краю». Это же песня, восторженно хвалил я себя. У бездны на краю! Каково? Лихо! Ну да, это уже было, честно признавался я. Но у него же, у Пушкина, было «у бездны мрачной на краю», у меня же лучше: не у мрачной. Завтра принесу ей текст. Пусть пишет музыку. Стоит же в клубе роля. Умеет же. Но написало вначале о том, что мучило во время спектакля. О тесной обуви.

Так ли, не так ли я рассказал Витьке, но его прошибло. Он курил и курил. Выслушав меня, сказал, как о решённом:

— Дембельнёшься, и с ней уедешь.

— Но она же замужем!

— Ну и что, — сказал Витька, — ты же говоришь, он в академии учится, и ездит экзамены сдавать. Узнай, когда поедет. И всё.

— Что и всё?

— Уедет и не вернётся. Как? Не твоё дело. Она к вечеру будет свободной.

И вот, уже вечность прошла, никак не могу понять, как вдруг мог согласиться на Витькино жуткое предложение. У меня весь ум до последнего горизонта был заполнен только ею. Ни о чём не мог думать, только о ней. Всю будущую жизнь мог представить только с нею. То, что она была старше, значения не имело. Был уверен: она меня любит, она говорила, что различает мои шаги среди других, когда иду по коридору. Но всё-таки надо спросить у неё разрешение. Я в нём не сомневался. Она жаловалась на мужа: ничего не читает, к

Блоку равнодушен; то за своими книжками сидит, то в учебном корпусе и казарме по суткам. Как такого любить? Который не понимает, какая она вся потрясающая, поэтичная. И я хладнокровно рассудил, что такой не имеет права быть рядом с моей возлюбленной. Недостоин. Сам виноват. Такой у меня был ему приговор.

— Жди у проходной, — сказала я Витьке и помчался в часть.

Сдал карабин дежурному, велел почистить. Сам полетел в библиотеку. В ней сидел и листал журнал «Старшина — сержант» какой-то зелёный солдатик, салажонок. Я сразу вывел его, показав рукой на выход. Стремительно прошёл в стеллажи. Занавеска всколыхнулась за мной. Сердце моё рвалось из клетки рёбер. Через минуту занавеска вновь отошла в сторону. Руки наши встретились. Я обнял её и торопливо спросил:

— Когда он поедет в академию?

— Кто? А зачем?

Я восторженно сообщил:

— Он уедет и не вернётся. У меня есть надёжные люди.

Хорошо, что держал её в объятиях, а то она могла бы рухнуть. Впервые в жизни при мне и из-за меня женщина упала в обморок. Обвисла на руках. Хорошо, рядом был стул. Усадил. Потом выскочил, налил воды в стакан из графина, вернулся. Она немного отпила. Потом плеснула воды на ладонь и смочила лоб и щёки. И сказать ничего не могла, только торопливо дышала. И смотрела на меня со страхом.

— Уйди. Уйди немедленно.

— А чего уйди? Мы же любим друг друга! Заочно буду учиться.

Она с трудом растёгивала верхние пуговицы у платья, пальцы у неё дрожали. Ещё отпила воды. Встала. Глубоко и медленно вздохнула.

И вдруг улыбнулась:

— Любить убийцу? — нервно засмеялась. — Я и не знала, что ты сумасшедший.

— Отошла к столу. — Боже мой! А я-то думала, что всё это только в литературе.

— Что?

— Всё! Доигралась! Всё!

Подошла к окну, взялась за портьеру, закрыла ею лицо и, видно было, беззвучно зарыдала.

Я не посмел подойти. Ушёл.

— Ну, когда? — спросил меня Витька. Он, как мы договорились, ждал у нашей проходной.

— Никогда. Запретила.

— Значит, не любит.

— С чего ты взял?

— А чего ж она не сказала?

— Сказала: я убийца.

— Ты, я чувствую, как-то не так спросил.

— Тут как ни спроси.

— Да-а, — Витька попинал хромовым сапогом урну для мусора. — Тогда так. Ведь его батарея тоже ходит на стрельбы?

— Это военная тайна. Конечно, ходит.

— Ну вот, сопрём карабин, его под трибунал, а ты с ней в ЗАГС.

— Нет, Витька, нет. Мы с тобой оба вообще, не знаю даже, что сказать, до чего дошли.

— А как ты думаешь, — хладнокровно сказал Витька, — за любовь надо драться. Это на гражданке. А здесь мы в армии, здесь за неё надо воевать.

До меня только сейчас начинал доходить страшный смысл витькиного предложения. Я с ней целуюсь, а муж в тюрьме. Или, того чище, я с ней слушаю оперу, а он лежит «под насыпью, в траве некошеной».

— Витька, ты говорил: за каждый выстрел по бутылке?

— Как скажешь, начальник.

— За каждый выстрел по букету. Ты расстрелял обойму — десять патронов.

— То есть?

— То есть, что хошь делай, до семи ноль-ноль букеты доставь на ту проходную, на гражданскую. В корзине.

Из канцелярии своей казармы позвонил в библиотеку. Один, два, три гудка. Четыре. Пот на лбу выступил. Вздрогнул даже, услышав её голос. Сказал:

— Прошу вас, когда пойдёте с работы, возьмите на проходной корзину с цветами. Они...

Она молчала.

— ... они для вас.

Положила трубку.

Открыл пирамиду, достал свой надёжный карабин. Передёрнул затвор.

— Товарищ старший сержант, — сказал дневальный, — карабин же ж почищен. Вы же ж приказали.

— Проверим! — Я вынул затвор и посмотрел в ствол. — Отлично! Ты чистил? Орёл!

Увольнение вне очереди. Сходи в оперу. Рекомендую. «Дон Карлос» Джузеппе Верди, а? По Фридриху Шиллеру, не так себе.

— Шутите.

— Чего шутить? Испанец, сын короля, мачеху любил! Вот они какие, испанцы!

А нам и чужую жену любить нельзя. Или можно? А? Как отвечают старшим по званию?

— Так точно! — отрапортовал дневальный, и на всякий случай приложил руку к пилотке.

— Девушка есть? Пишешь ей?

Дневальный даже покраснел:

— Пишу.

— А матери?

— Так она через дорогу живёт. Как напишу, так она к маме приходит.

— Вишь, как устроился. Ну чего, готовься к сдаче дежурства.

Мне надо было срочно составлять наряд на завтра. Кого в караул, кого на кухню. Кого в дневальные. Я засел в каптёрке. И дело, на которое раньше уходило от силы полчаса, никак не ладилось. Я тупо смотрел на списки личного состава и думал: не простит. И правильно. И нет мне прощения.

Ну и ночка была потом! Конечно, писал к ней письмо. Писал и рвал. Что напишу? Конечно, рифмовал, а что тут срифмуешь? Не хуже нас писывали: «Любить, но кого же? На время — не стоит труда, а вечно любить невозможно». Но ведь Валентину-то и можно, и нужно любить вечно.

Спать не ложился и спать не хотел. Наустро был подъём, зарядка, уборка, завтрак, осмотр внешнего вида, развод на занятия. Опять засел в каптёрке и как-то тупо воспринимал окружающее.

— Разрешите! — вошёл дежурный по дивизиону сержант-земляк Лёха Кропотин.

— Ты один?

— Нет, с дедушкой. Чего тебе? Нет у меня солдат. — Я думал, он будет просить людей для уборки: на разводе комдив при всех наорал на меня, что ещё снег вокруг казармы. «Скоро лето, а вы всё никак из зимы не выползаете!» — Пойдём Лёха, вспомним армейскую молодость, сами уберём.

— Да остатки-то снега чего убирать, — сказал Лёха. — Ты на батю не сердись, значит, на него тоже кто-то наорал. А снег? Снег не дурак, сам растает. Так же у нас говорили. Тобое пакет. Пляши.

— Я своё отплясал. Давай сюда. Лопаты приготовь, грабли. Ты, я, два дневальных. Час работы. Пойдём, отчистим территорию от снега. А я себя ещё и от свинства.

Пакет был... из библиотеки. В нём лежали две тонких тетради. На одной значилось «Литература», на другой «Русский язык». И в обеих были домашние задания, которые мне надлежало выполнить до завтра.

— Лёха! — крикнул я и вскочил. — Плясать, говоришь? Вспомни, как мы плясывали в любимой Вяточке. Эх, запевай, товарищ, песню, запевай, какую хошь. Про любовь только не надо: больно слово нехорошее! Эх-ха! Было милочки четыре, остаются только две: одна милочка на вилочке, другая на ноже!

Лёха тут же включился:

— Мы ребята-ёжики, у нас в карманах ножики. Кто заденет ёжика, тот получит ножики. Нет, лучше эта: По деревнюшке пройдем, на конце попятимся, старых девок запрежем, с молодым прокатимся. Да, земля, по статистике десять девчонок на девять ребят. Значит, и нам кто-то останется, чать. А? Докантуем свои три годика, и...!

И мы ударили враз:

— А шире, уличай, шире вдоль и поперёк! Да ещё раздайся шире, широко наша берёт! Оп-па! Эх, атамана схоронили, не поставили креста. Это братская могила человек четырёхста!

У Валентины были синие глаза. Нет, серые. Нет, уже не помню, врать не буду.